
ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК

НЕ ОПОЗДАТЬ!

(Одна посылка – бесконечность следствий)

Ю. Ф. Карякин

Замечательному русскому мыслителю – философу, литературоведу, публицисту, политику – Юрию Федоровичу Карякину исполняется 80 лет. К этой славной дате мы публикуем статью философа, написанную в своей основе еще в прошлом веке, но не потерявшую актуальности и в наши дни.

Ключевые слова: *человечество, народ, человек, жизнь, смерть, экология, демократизация, ценности, нравственность, совесть, духовность, индивид, цивилизация, культура, генофонд, глобальные проблемы.*

Пять минут, всего, всего только пять минут
опоздал!.. Опоздал!!!

Ф. М. Достоевский

Я отказываюсь принимать конец человека...
Человек не просто выстоит, он восторжествует.

У. Фолкнер

Есть горькие слова: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». И не верится, что это – Ламарк, 1820 г.

Есть и такие, не менее горькие, слова: «Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из пироксилина. Но, благодарение богу, мы пока еще не нашли спички, которая подожгла бы его». Это – Вальтер Нернст, физик, нобелевский лауреат, год 1921-й. Но этому уже веришь, потому что знаешь: очень скоро, всего через 24 года, «спичку» не только нашли, но еще скорее, в невероятных и все возрастающих размерах, организовали изобретательство и производство таких «спичек».

Тенденции смертельно опасного (если его не остановить) экологического кризиса наметились давно. Земля – крохотная свечечка во Вселенной – грозит сгореть сразу с обоих концов.

Новое «дано»

К середине XX в. вся история разделилась вдруг и явно (а подкралось это разделение тихо и незаметно) на два периода: позади – долгий путь человечества, практически (и психологически) бессмертного, впереди – путь только что начавшийся, но – под знаком беды небывалой, под знаком нарастающей (пока) угрозы

самоубийства человечества. Мало того. Эта новая неожиданная периодизация относится не только к судьбе рода людского, но и – через деятельность людей же – к судьбе вообще всей жизни нынешней на Земле.

Известно: чем меньше посылок и больше следствий из них, тем содержательнее теория (сформулировано Анри Пуанкаре). Но сейчас перед нами – одна-единственная сухая и жестокая посылка, одно-единственное «дано»: человеческий род, вся жизнь стали практически – технически! – смертными. Это «дано» означает возникновение совершенно новых координат, ориентиров, критериев как мировоззрения, так и всей деятельности нашей. Эта посылка влечет за собой следствия неисчислимы. Вот лишь несколько из них.

О времени живом и мертвом

Первое – это абсолютно новое *времяощущение*. Бессмертие человеческого рода предопределяет одно отношение ко времени, смертность – абсолютно другое, а то или иное времяощущение уже и само по себе предопределяет возможности гибели или спасения.

Здесь, вероятно, нельзя обойтись без таких понятий-образов: *время живое и время мертвое*; живое, когда жизнь цветет, когда, по крайней мере, ее можно спасти, мертвое – когда ничего уже сделать нельзя, когда земной корабль наш улетел *не туда*, и не вернешь его обратно, не изменишь его курс.

Раньше у нас действительно была в запасе вечность, и мы жили как бы по песочным часам: проходил день, год, век – мы переворачивали их, и время начиналось заново, текло, как прежде. А теперь оно стало словно *вытекать* из бытия, из раненного нами бытия, вытекать, как кровь из раны.

Сколько верно написано о катастрофическом, обвальном, обрывном времени в эстетике Достоевского. Но вот, словно очнувшись, мы увидели это время воочию, догадались, наконец, что сами – давно, реально – *и живем* в этом самом катастрофическом, обвальном, обрывном времени, находимся в самом эпицентре борьбы времени живого и мертвого.

Раньше аксиомой было убеждение, что время само по себе уже работает на прогресс: чем больше времени впереди, тем больше, дескать, оно и работает. Но тем самым подспудно подготавливалась, провоцировалась безответственность: ничего, мол, ничего абсолютно не страшно, раз время за нас. Можно ли безоговорочно и бездумно повторять это сейчас? Но, может быть, точнее было бы сказать, что сейчас приходится *бороться за время, как бороться за жизнь: это одна и та же борьба*.

Раньше все расчеты, все надежды людские на лучшее будущее опирались на незыблемое убеждение в том, что будущее вообще будет непременно, а потому, рано или поздно, будет и лучшее будущее; в крайнем случае, допускали только его отсрочку. Раньше задержка на историческом пути означала: просто одним шагом от заветной цели *дальше*, просто одним часом до нее *дольше*. Теперь такая задержка может оказаться роковой: одним шагом к катастрофе *ближе*, одним часом до нее *быстрее*.

И вдруг постигаешь: «...эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким

трудом ищем... Самое простое принимается всегда лишь под конец, когда перепробовано все, что казалось мудреней или глупей» (Ф. Достоевский).

Но потому-то: *не опоздать!*

«Последние» вопросы становятся первыми, утопия – реальностью

Бессмертие рода нашего, прежнее времяощущение (то есть неисчерпаемость времени живого), взнудывая будничную, необходимую, но слишком часто суетную деловитость людей, невольно провоцировало *откладывание* «последних», «вечных» вопросов, откладывание их именно напоследок: «Обождут – на то они “вечные”!» Провоцировалось и принесение «вечного» в жертву «временному»: за нами, мол, не пропадет! Оказалось: может пропасть, может *все* пропасть – именно из-за этого постоянного привычного откладывания.

Но угроза гибели рода человеческого породила категорический императив, требующий сегодня сделать «последние» вопросы гуманистического идеала самыми первыми; вопросы философские, «вечные» – социальными, политическими, неотложными; вопросы, казавшиеся абстрактными, – самыми конкретными; вопросы, традиционно переживаемые в одиночестве великими умами и сердцами человечества, – вопросами масс, вопросами для всех и каждого. Происходит *великая спасительная демократизация великих вопросов* (не путем снижения их уровня, а путем возвышения людей к ним).

Веками, тысячелетиями люди учились и выучились – не слушать, не выслушивать, не дослушивать, не понимать друг друга.

Веками, тысячелетиями люди учились и выучились главным, решающим аргументом споров своих считать огонь, нож, пулю, казнь, войну, короче – убийство. Убийство – как критерий правоты, критерий истины...

Веками исподволь насаждалось и царило убеждение, будто чем дешевле человеческая жизнь (а она ценилась реально все дешевле, до нуля дошла по мере роста численности людей), тем, дескать, почему-то обеспеченнее, надежнее будущее человечества.

Веками шло чудовищное состязание различных изуверских теорий, каждая из которых обосновывала необходимость как можно более длинного проскрипционного списка (чем он длиннее, тем, мол, «чище» будет оставшееся человечество, а короткие списки воспринимались даже как несолидные, несерьезные, неавторитетные, что ли).

И вот выяснилось: «убий человечество»! И началось с «убий человека». Выяснилось: в проскрипционный список попал весь род людской, жизнь вся попала – от человека до одноклеточных.

Но тем самым люди и оказались перед выбором: либо выучиться слушать и понимать друг друга, пожелать этого как спасения и счастья, относиться к каждой личности, к каждой народности, к каждой расе как к неопределимому достоянию человечества, либо погибнуть в самоубийстве. И сейчас мы должны вспомнить, откопать, оживить, «преувеличить», если угодно, все до единого светлые моменты в истории людей, народов, человечества, моменты действительного миролюбия, взаимопонимания, спасительных, мудрых компромиссов.

Наше время таково, что «идеализм» (не в философском, конечно, смысле, а именно от слова «идеал») и становится единственно реальной, то есть спаситель-

ной политикой, а безыдеальная, бездуховная, безнравственная политика делается буквально самоубийственной.

Человечеству предстоит великими вопросами о смысле своего существования, своего духовного и социального бытия, вопросами, которые откладывались до бесконечности, – теперь всему человечеству и предстоит этими «вечными» великими вопросами отдалить выстрел и сделать его невозможным.

Новый хронотоп

Есть такая категория: *хронотоп*, то есть художественное время-пространство, или *изображение* времени-пространства (основной жанрообразующий принцип). В различные эпохи в разных литературах были разные хронотопы, однако у всех художников – от Гомера до Пушкина и Льва Толстого – они оставались (и казалось, навсегда) как бы видами одного, наполненного животрепещущим бытием хронотопа: в определенном времени-пространстве – живая жизнь, живые люди, вечно живой род человеческий, несмотря на смерть индивида.

А каким должен стать – становится – хронотоп сейчас?

Мы долго дискутировали и проглядели, что дискутируем при давно уже мнимой гарантированности будущего как такового. Какой будет литература будущего? Это всецело зависит от ее реальной роли в *спасении* самого этого будущего.

Одно ясно: самый грозный час в истории человечества – это и самый великий, ответственный, самый совестливый час литературы. Жизнь или смерть рода – вот что определяет все остальное, все жанры, стили, формы.

И если (или когда) человечество сможет перевести, наконец, дух и сказать себе: самое страшное уже позади, самоубийство, похоже, исключено, – то кому прежде всего оно будет этим обязано? Конечно, это будет делом усилий политиков, ученых, будет результатом небывалых социальных общенародных движений, но и – высшим проявлением писательской совести.

Механизм непримирения со смертью рода

Да, раньше веками, тысячелетиями все мироощущение, все мировоззрение наше (пусть даже религиозное, пусть даже бессознательное) основывалось на том, что хотя отдельный человек смертен, зато человечество практически бессмертно. Человек умирает. Но остаются дети. Остаются плоды труда его. Будут жить другие люди, народ, человечество. Есть историческая память. Герострат и тот совершил свой поджог исходя именно из этого (и таки добился своего: проклинают, но ведь помнят же). Даже трагедия вымирания, гибели какого-либо племени, народа, государства, целого общества, цивилизации целой восполнялась жизнью других племен, народов, государств, цивилизаций.

Работал и все совершенствовался именно этот механизм сознания (и подсознания, конечно), механизм, словно бы рассчитанный самой природой, запрограммированный ею именно на практическое бессмертие человечества, на практически бесконечное его развитие, – механизм примирения со смертью индивида.

«Смерть кажется жестокой победой рода над *определенным* индивидом и как будто противоречит их единству; но определенный индивид есть лишь некое *определенное родовое существо* и как таковое смертен» (К. Маркс). Иначе говоря, смерть отдельного человека и была утверждением жизни рода, его развития; отдельная смерть и *восполняется* общей родовой жизнью. Но чем может восполниться смерть всего рода? Над кем это будет «победа» и чья?

Как «завести» и пустить на полную мощность механизм непримирения со смертностью рода? Неужели нет его вовсе? Или – разладился за долгой ненадобностью?

«Человек есть существо родовое <...> Он должен проявить и утвердить себя как родовое существо и в своем бытии, и в своем знании» (К. Маркс). Человечество как единый род и есть высшая форма социальности, высшая форма реального гуманизма, тем более перед угрозой небытия.

Между прочим, в десятках энциклопедий вообще отсутствует само понятие «человечество», «человеческий род». «Человеко-час» есть, «человекообразные обезьяны» есть, «человечества» – нет. Нас – нет. Что подумают о нашем родовом самосознании инопланетяне и как мы им будем рекомендоваться при встрече?

Лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти

Но в том-то вся острота, вся сложность проблемы, что выработка нового мироощущения, нового мировоззрения – *единства человеческого рода* – происходит при всех исторически сложившихся и существующих социальных, классовых, национальных, политических *противоречиях* – *внутри самого этого рода*. Их не отбросишь. От них не абстрагируешься.

Есть немало софизмов: лучше быть мертвым, чем верующим (или неверующим), христианином (или не христианином), мусульманином (или не мусульманином)...

И ведь слышим мы это не только от фанатиков, но и от обыкновенных банальных словоблудов, циников, попугаев, которые на деле трусят постыдно и мерзко: на смерть других согласны, на свою – ни за что, и сами, втайне, в этой подлой трусости своей, а еще больше в тупости, надеются выжить.

Лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти, – человечество поистине выстрадало эту простейшую и мудрую, спасительную, возвышающую людей истину, выстрадало ее немислимо, непостижимо дорогой ценой, выстрадало, что сама эта разность, сами эти различия между людьми, народами, нациями, расами, странами и есть условие всеобщей жизни человечества, условие ее развития, иначе говоря: эти различия и есть живая жизнь реального человечества. *Быть разными в жизни и значит – жить*.

Право на жизнь... Нет права на жизнь без права на образ жизни, как нет права на образ жизни без права на жизнь. И нельзя противопоставлять одно другому. Право на жизнь и есть право на образ жизни, на социальный, политический, национальный, духовный образ жизни каждого народа, каждой нации, каждой страны (впрочем, я лишь пересказываю здесь Устав ООН).

Вы убеждены, что ваш образ жизни хорош и даже лучше других (для вас лучше)? Превосходно.

Вы хотите силой, угрозой, «крестовым походом», войной навязать его всем? Это и есть сегодня убийство и самоубийство человечества. Нельзя превращать исторический спор о том, чей образ жизни лучше, в войну, то есть в смерть всякого образа жизни вообще.

Нет, социальные, антагонистические противоречия не отменишь и сегодня, но способы, методы, пути, формы их разрешения не могут не модифицироваться, и, во всяком случае, они должны быть подчинены главнейшему – сохранению жизни рода человеческого, жизни вообще.

Поэтому и наука современная интенсивно разрабатывает *теорию компромиссов*. Мы должны создать инструмент для отыскивания разумных компромиссов. Надо понять, что без науки это сделать невозможно, мир стал чересчур сложен...

Благородна, прекрасна, естественна жертва жизнью своей ради ребенка, матери, друга, любимой, ради людей, родины, народа, ради правого дела, ради истины, чести, человеческого достоинства, ради человечества и самой живой жизни. Такая жертва веками воспевалась и воспевается как подвиг. И чем были бы люди без таких подвигов?

Преступна, безобразна, бессмысленна, противоестественна жертва жизнью всего человеческого рода ради... ради чего?! Нет и быть не может ничего на свете, ради чего можно было бы принести такую жертву. Нет и быть не может такой идеи, которая оправдала бы эту жертву. Так чего же ради? Ради смерти?! Лучше быть всем мертвыми, чем всем живыми?! И какой смысл, какая разница в том, с какими лозунгами на устах погибнут все?! Какое, какое значение будет иметь в этот последний момент жизни человечества любой лозунг: «Лучше быть мертвым», «Есть вещи поважнее мира», «Да здравствует...» Что «да здравствует»?! Кто, где, когда будет «здравствовать»?! «Да здравствует... смерть»?! Спросили бы о лозунгах у хиросимцев, у ста тысяч хиросимцев в момент их убийства...

Еще раз: одна посылка и бесконечность следствий

Века понадобились европейскому человечеству, чтобы перейти от язычества к христианству, и еще века – от теизма к деизму (от Бога-вседержителя, без чьего ведома ни один волосок не смел упасть с головы человека, до Бога, оставившего в своей власти практически лишь начало и конец света), от Птолемея к Копернику и Галилею. Десятки лет самые сильные умы мучительно переживали «драму идей», связанную с переходом от Ньютона к Эйнштейну и Бору, когда даже гении не признавали, не понимали друг друга. Но какая драма хоть отдаленно может быть сравнима с нынешней? Не видно и нет, конечно, никакой аналогии тому мировоззренческому перевороту, который должен произойти сейчас во всей массе людей, произойти к тому же беспрецедентно быстро.

Когда Анри Пуанкаре сформулировал свою идею (теория тем содержательнее, тем продуктивнее, чем меньше в ней посылок и больше следствий), он имел в виду математику. Подозревал ли он, что идея эта универсальна? Во всяком случае, она работает и в мировоззренческом плане, причем работает здесь так, как может быть, нигде еще не работала: всего одна-единственная посылка и – действительно бесконечность важнейших спасительных следствий, составляющих в своей совокупности именно *положительную* программу.

Формула эта (одна посылка – бесконечность следствий) представляется не просто удобным выражением или методическим приемом изложения. Вероятно, она имеет смысл принципиальный, методологический, именно мировоззренческий. Прежде всего она помогает начать упорядочивать небывалый хаос, состоящий из потока, лавины небывалых вестей. Эта формула – саморазвивающаяся, открытая. Она открыта для всех. Каждый человек, которому действительно дорога жизнь рода своего, который хоть на миг испытал, что значит «благоговение перед жизнью» (Альберт Швейцер), несомненно, найдет, что ему здесь сказать, подумать, сделать, какой вклад внести в эту бесконечность следствий: он в нее и входит, он в ней, так сказать, предусмотрен.

Вероятно, самый ближайший и конкретный смысл этой формулы и состоит вот в чем: *каким быть человеку* – каждому человеку, любому – при новой «посылке», при новом «дано»? Как научиться «геройству консеквентности» (Александр Герцен), геройству последовательности, как *переделаться*?

И, наверное, надо прежде всего понять: *вся истина спасения* не может родиться в одной голове, самой гениальной. Вместиться ей там – и то невероятно трудно, а скорее всего – невозможно. Но добывать ее, добывать ее *часть*, человек должен только сам и – в братстве, в кооперации со всеми, кто ее добывает так же.

Осознать, столь же честно, сколь и глубоко, *свою ограниченность* – уже великое дело, это первый, труднейший, но гигантский шаг вперед. Осознать свою ограниченность – значит осознать необходимость в уме, воле, знании, таланте, силе других. Только так можно найти свое место, свой максимум в общем труде, слить свои силы с силами всех других, а это уже и будет безграничность сил.

Раньше все вопросы ставились и решались в координатах практически гарантированной жизни человечества и природы. Теперь – в координатах выбора между жизнью и смертью. Причем спасти жизнь, одолеть смерть можно, ориентируясь только на самые высшие социально-духовные формы жизни.

Угроза практического апокалипсиса вызвала у многих апокалипсис гносеологический: возникло состояние, подобное *состоянию невесомости*, в которое человек попадает вдруг, неожиданно, без всякого предупреждения, без какой бы то ни было тренировки, а ведь и годами специально натренированные космонавты в кабинах, начиненных всевозможными приборами, – и те бывают потрясены этим состоянием: где «верх»? где «низ»? «север»? «юг»? на что опереться? Все, все перемешалось, кружится, разламывается голова, мутит, тошнит... Это – у космонавтов. А тут?..

У многих и возникло состояние мировоззренческой и психологической невесомости. Когда новые факты, вопросы протиснулись, пробились, ворвались к нам, настигли нас и заставили себя признать, они потрясли нас так, как ничто и никогда еще не потрясало. Как? Самоубийство всего человечества? Гибель всей жизни земной? Всей прошлой, настоящей, будущей культуры? Нерождение бесконечных будущих поколений? Истребление их в генах? И время, вечное время живое, сжимается на глазах, как шагреновая кожа?! Человек, высшее проявление жизни, «венец творения», может уничтожить как таковую всякую жизнь?! И смерть, самоубийство грозит человечеству, в сущности, на самой, самой ранней заре его жизни, при самых первых шагах его бесконечного, казалось, пути, когда только-только открылись перед ним фантастически прекрасные перспективы?! И плоды миллиардолетнего стихийного развития жизни, плоды тысячелетнего сознательного развития культуры могут быть обращены в ничто, в прах – за считанные мгновения?!.. Нет, это слишком, слишком противоестественно. Не может этого быть, потому что это-то уж действительно не может быть никогда...

Невыносимо трудно, порой почти невозможно осознать все это. Но еще невыносимее осознать, что новое «дано» – это «дано» *навсегда* (вместе с бесконечностью следствий). Новой периодизации уже не переделаешь, к прежней, гарантированной бесконечной жизнью, эпохе – не вернешься. Слишком хрупкой оказалась жизнь человечества и вся земная жизнь, и мы знаем еще далеко не все опасности, подстерегающие нас. Земля превратилась как бы в «лабораторию», и какой-нибудь

опрометчивый эксперимент, какой-нибудь непредвиденный взрыв может оказаться роковым. История навсегда стала борьбой за историю, жизнь человеческого рода – борьбой за эту жизнь, борьбой за жизнь природы. Будущее отныне нам не дано-даровано – его надо добывать, защищать, завоевывать...

Но вот тут-то и начинаешь, наконец, понимать значение вопросов, которые Достоевский вслед за Гоголем называл «непосильными». Начинаешь понимать, что и не осилить их – нельзя, но только – всем вместе.

Безгранично человеческое воображение, всеильным кажется разум, но есть вещи, которые вообще непознаваемы без непосредственной встречи с ними, без непосредственного переживания этой встречи. Ожог, боль от ожога – никаким воображением и никакой логикой нельзя представить себе, что это такое, пока не обожжешься сам. Без ожога (в прямом и переносном смысле) невозможно никакое познание, никакая гносеология. А еще больше невозможно они без любви к живой жизни, без «благоговения перед жизнью», но и – без непосредственной встречи со смертью. Есть такие вещи, которые и для отдельного человека абсолютно непостижимы никаким иным путем, кроме непосредственной встречи его со своей смертью, и только тогда он делает *самое-самое главное и самое простое открытие* из всех дарованных человеку: *открытие бесконечной ценности жизни живой*. По-видимому, так же и всему роду человеческому понадобилась встреча со своей смертью, со своей возможной смертью, понадобилась самая непосредственная угроза этой смерти, чтобы противостоять ей, чтобы избежать ее, победить, чтобы осознать, постигнуть, наконец, такое, что никаким другим путем непостижимо. Приходится признать как закон, что встреча со смертью – действительно ничем не заменимый способ познания «вечных» истин, по крайней мере – способ приобщения к ним. И никакое познание, никакая гносеология не может обойтись без таких встреч, не обрекая себя сделаться слишком рассудочной, механической, «роботной», ограниченной, а в конце концов – смертоносной.

Потребность синтеза научных знаний, единства искусства и науки осознана давно. Осознано, что тенденция к тому и другому заключена в самой природе науки и искусства, что противопоставление ученых писателям, художникам – это что-то вроде войны добровольно одноногих калек, войны между левоногими калекками и правоногими. Но оказалось, что одно дело – ставить и решать эти проблемы в координатах гарантированной жизни человечества и природы, другое – совсем другое – в координатах выбора между жизнью и смертью, когда *такой синтез, такое единство становятся одним из ничем не заменимых условий уже не просто «дальнейшего прогресса», а именно самой жизни*. Оказалось, вообще нельзя решить задачу спасения жизни на путях прежнего разделения (тем более противопоставления) знаний.

Сама опасность должна неминуемо породить такие постановки вопросов и такие решения, которые просто невозможны, невысказаны при старом, «нормальном» ходе вещей. Сама цель – спасти жизнь, спасти человечество путем его возвышения – не может не отыскать своих соответствующих форм, способов синтеза наук, единства искусства и науки. Сама цель и определит – определяет – свои средства. Возникло величайшее общечеловеческое небывалое дело – возникнет, возникает и общий язык.

Объективность законов нравственности

Взять весь комплекс человеческих качеств, чувств, страстей, положительных и отрицательных. Ум и глупость, знание и невежество, бескорыстие и корысть, мужество и трусость, доброжелательность и зависть, благородное честолюбие и ненасытное тщеславие, честность и бесчестие, совесть и бессовестность, красота и безобразие – все эти качества играют сегодня новую роль, все они несравненно «тяжелее» весят на чашах новых весов, на чашах жизни или смерти, все они неисследимым образом «суммируются», и результат этого «суммирования» и станет судьбой человечества и Земли.

Но ведь это фактически и есть вопрос об объективности законов нравственности. Что такое объективность законов вообще? Это не только *независимость их от человека*, это еще и *зависимость человека от них*. Объективность законов в том и состоит, что если не считаться с ними, то они рано или поздно, так или иначе, прямо или косвенно напомнят о себе, напомнят сурово, отомстят за себя, заставят себя признать, хотя бы от противного, хотя бы через катастрофу (да так, собственно, они и открываются).

Но есть ли объективные законы в самой субъективной области человеческих отношений – в области нравственной? Есть – утверждали многие мыслители, есть, несмотря на относительность, которая тоже несомненна. Они проявляются самым непосредственным образом на судьбе данного человека, на судьбе его родных, близких, на судьбе его племени и нации (уже весьма опосредованно), наконец, на судьбе всего рода человеческого (совсем уж неисследимо, но все равно небесследно). Есть – *доказала* вся мировая художественная литература (включая фольклор), от древневосточных и древнегреческих трагедий до «Братьев Карамазовых» и «Воскресения». Ведь вся эта литература постоянно и все глубже *моделировала художественно судьбу человечества на судьбе человека*, связывая, как никто, *личность с родом*, а это и есть объективная связь, объективная закономерность. Существует кардинальный факт: веками, тысячелетиями одни и те же произведения читаются с неослабевающим (а часто с нарастающим) живым интересом – почему? Да потому прежде всего, что задеваются самые глубокие, сокровенные, живые струны совести, которые и существуют в людях все эти века и тысячелетия, – и это ли не объективность?

Есть объективные законы нравственности. Есть, и они реализуются с такой же необходимостью, как и законы физики. И нарушение их карается с такой же неизбежностью, с какой карается человек, решивший в опровержение закона земного притяжения прыгнуть с Останкинской башни. Правда, здесь, в области нравственной, все происходит, разумеется, неизмеримо сложнее, чем в физике, но не менее объективно, и хотя развязка здесь длится дольше, чем прыжок с башни, но зато в своем роде она и пострашнее...

Однако надо признать, что веками, тысячелетиями существовал довольно сильный аргумент против этого, а именно: неисчислимы примеры успеха «любой ценой», неисчислимы реальные победы принципов «все дозволено», «цель оправдывает средства», неисчислимы случаи безнаказанности всевозможных преступлений. Этот аргумент наглед из века в век и выступал все более победоносно.

Достоевский писал: «...в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благо-

родный, походя на идеалиста, имеет вид шута». Так он писал, но сам же повторял: «Я неисправимый идеалист: я ищу святынь и люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, хоть капельку посвятее; не то стоит ли им поклоняться!» Он повторял, а над ним то потихоньку посмеивались, то нагло хохотали...

А он повторял: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (из романа «Идиот»).

Повторял, отвечая одному критику, «блеснувшему» известным выражением Ларошфуко («Лицемерие – дань, которую порок платит добродетели»): «Перифраза мудреца, дурак. Кто же не знает, что добродетель унижена, что добродетель никогда не платит дани, а если согласится, то она не добродетель. Она принуждена бывает. Но дело в том, что тут факт: как ни торжествует порок, но отчего же он не становится выше ее. Порочные люди всегда кем-то принуждаемы говорить, что добродетель все-таки выше и все-таки молятся добродетели. Это факт первой величины и ужасной глубины, факт из неразрешимейших, – вдумывались ли вы в него?» И это – закон.

О нем же говорил и Пушкин: «Человеческая природа, в самом гнусном своем уничтожении, все еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода».

Да, все это повторялось, изображалось несчетное число раз, но видимая и реальная безнаказанность еще более бессчетных преступлений оставалась.

Этот наглый, хохочущий, «победоносный» аргумент сейчас наконец бит, но бит ценой самой дорогой из всех возможных: *нарушение объективных законов нравственности стало смертельно опасным для всего человеческого рода. Бессовестность погубит, совесть спасет* – и уже не только отдельного человека, нацию, а все человечество, и погубит или спасет уже не только нравственно, духовно, но тем самым и физически. Веками и тысячелетиями невидимые обыкновенным глазом нравственные законы обрели вдруг физическую осязаемость и силу.

Это точь-в-точь как с отношением к природе: до поры до времени ее можно было ломать, кромсать, грабить, насиловать, ранить безнаказанно, можно было снисходительно посмеиваться или нагло хохотать над «шутами-идеалистами» вроде Руссо и Торо, плачущими или негодующими при виде этой картины. Но вот настал момент, когда это совокупное и постоянное безнравственное отношение к природе стало грозить гибелью и природе, и человечеству. Не остановит нас сама эта угроза – ничто не остановит приведение ее в действие.

Нравственность веками вырубалась так же, как веками вырубались леса, – все экстенсивнее и интенсивнее. Какой же может быть тут итог?

То, что называется ныне **глобальными проблемами**, было для всех истинных художников (именно по самой природе их творчества) производным от одной-единственной, самой *глобальной* (для них) проблемы – проблемы духовности, нравственности, гуманизма. Толстой со свойственным ему максимализмом (общим для него и с Данте, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Достоевским) писал: «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно и одно только дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется не-

важным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества». Что это – максимализм? Конечно. Но без этого максимализма не было бы никаких великих художественно-духовных открытий. Это во-первых. Во-вторых, ведь и «ставки» нынче (и давно уже) самые максимальные: о жизни и смерти человечества идет речь – как же здесь обойтись без максимализма? В-третьих, это кредо означает прежде всего взятие максимальной ответственности за судьбу мира *на себя*. А в-четвертых, не соглашаясь, конечно, с противопоставлением нравственных законов торговле, договорам, наукам, искусствам, вдуваемся: разве нет глубочайшего смысла в этизации всех этих вещей?

Вдуваемся: «...цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель»¹. Это – всеобщий закон нравственности или нет? Имеет он свою объективность или не имеет? Не доказывает ли жизнь отдельного человека (то есть миллиардов), не доказывает ли вся история, что если есть неправота средств, значит, что-то не в порядке и в самих целях? Это – точный сигнал их скрытой неправоты. Цель не оправдывает средства, а определяет их. Неправые средства и есть выражение неправых целей. Цель в этом случае становится лишь средством (маскировкой), а средства – целью, самоцелью.

Восстановление духовного генофонда

«Внезапный» интерес к своему прошлому, сочетание мифологии с современностью и вместе с тем явная ориентация на будущее – это характерно сегодня для культуры, литературы почти всех стран. Это и связано прежде всего (сначала интуитивно, но затем все более осознанно) с ответственностью перед лицом жизни и смерти всего человечества, когда люди не могут не почувствовать, не осознать, что они накопили за века и тысячелетия, что имеют, что могут навсегда потерять и что, наконец, может помочь им спастись, а точнее – без чего им тоже не спастись. Я рискнул бы сравнить этот могучий зов с инстинктом заболевшего зверя, рыщущего по лесам и лугам в поисках каких-то целебных трав и корней. Так и тут: корни, травы жизни – перед лицом смерти – ищутся и отыскиваются. Тут генофонд духовный восстанавливается. Память, совесть историческая кричит. Тут о спасительной «экологии культуры» (Дмитрий Лихачев) идет речь, *о собирании всех жизненных, жизнетворческих сил для борьбы со смертью*. Тут уснувший было механизм неприятия родовой смерти словно очнулся, вздрогнул и – начинает работать. Мы ведь еще в самом начале этого пути, мы пока лишь крохами питаемся из тех неисчерпаемых, невообразимых духовных богатств, которые накоплены человечеством.

Тут как раз и правомочно сопоставление: экология как таковая и «экология культуры». Неразрывная прежде цепь «природа – человек – культура – природа» оказалась разорванной, из нее выбиваются все новые и новые звенья (а восстанавливаются они несравненно меньше), так что у природы и у человека *может просто сил не хватить* для спасения.

Работа по раскопкам, восстановлению, оживлению, культивированию всего духовного опыта человечества – это работа навсегда, так же навсегда, как генетика в биологии.

¹ Маркс, К., Энгельс, Ф. 1954. *Соч.*: в 39 т. Т. 1 (с. 65). М.: Изд-во полит. лит.-ры.

Осанна или анафема апокалипсису?

Размышляя над всеми этими вопросами, нельзя избежать и такого: а эсхатология? А христианский апокалипсис? Ведь все это давным-давно известно. Были и бесчисленные пророчества насчет «конца света», были и ожидания этого конца. Были, да не сбылись...

Но сейчас – абсолютно другое. Сейчас апокалипсис грозит уже практически, технически. Сейчас перед нами не темные пророчества, не мистические «знаки», не метафорические иносказания, отнесенные к неопределенному будущему, а именно реальные, во многом (хотя и далеко не во всем) вычисленные, очевидные, конкретные данные, конкретные вопросы, требующие конкретных неотложных ответов. Эта «маленькая» разница все, все меняет. Природа была здоровой, а теперь у нее, может быть, рак легких (что делается с атмосферой!), лейкомия (что – с водой!), авитаминоз сильнейший, обмен веществ нарушается, истончаются сосуды, сухожилия перерезаются и т. д. и т. п.

Да, все верующие оглядывались на «Откровение святого Иоанна Богослова», но практически-то, реально, в подавляющей массе своей ежедневно – из века в век – жили так, как будто ничего этого и нет, как будто реально это не грозит. Никто, за исключением одержимых, почему-то не спешил расстаться со своей «грешной», «ничтожной» жизнью на «грешной», «ничтожной» земле. И почему-то наименьшим успехом пользовались те «рекомендации», по которым людям вообще надо было сразу прекратить размножение и разом перейти к делам небесным.

Отличие нового мироощущения, мировоззрения от христианско-эсхатологического состоит, во-первых, в том, что если в христианстве «последние дни», «конец света» отделены от Страшного суда (сначала одно, потом другое), то здесь – «светопреставление» может быть, а уж *того* Страшного суда не будет. Однако и здесь есть свой страшный суд – суд своей совести и суд всей совести людской.

Христианство предполагает бессмертие души, в раю ли, в аду, но все равно – бессмертие, предполагает воскрешение всех умерших во плоти (Страшный суд и есть такое воскрешение – для отправки в рай или в ад), а здесь для такого обещания, а тем более для такой гарантии оснований нет.

У христианина почти всегда остается надежда (хотя официальная церковь очень неубедительно квалифицирует ее как «ересь»), что и самым большим грешникам будет явлена в конце концов безграничная божеская милость, остается надежда на помилование, на своеобразную если не «реабилитацию», то хотя бы на «амнистию», на «досрочное освобождение» из ада.

Христианской эсхатологии, если она последовательна, присуще не просто естественное принятие апокалипсиса, не просто примирение с ним, а надрывная апологетика и мистическая эстетизация его. Здесь же, в новом мировоззрении, ни о каком примирении с апокалипсисом, тем более ни о какой апологетике, эстетизации его, не может быть и речи. И если уж он наступит, то никакой художественности при этом не будет. Апокалипсис, если он ударит, то не «сверху», а «снизу», и это не кара небесная, а самоказнь, не красота, а плод совокупной пошлости, мерзости, низости.

В истории реальных, практических взаимоотношений между верующими и неверующими (как и среди самих верующих) в разные эпохи выходили на первый план всегда не общие, абстрактные вопросы, а вопросы вполне конкретные, исторически, социально обусловленные: отношение к науке (скажем, к астрономии:

Птолемей или Коперник?), к той или иной власти, политике, собственности. Всегда эти конфликты так или иначе «заземлялись», «переводились» на язык текущей практической общественной жизни.

В самом христианстве, как раз под воздействием уже технически осуществимого, практически грозящего апокалипсиса, *и вызревает беспрецедентный раскол, именно по вопросу: принимать или не принимать апокалипсис*, тот, который в «Откровении», и тот, который угрожает в действительности? Самое главное, может быть, противоречие христианства, скрытое до поры до времени, должно наконец взорваться. Все это чрезвычайно обостряет и без того серьезнейший кризис церкви, теологии, всего религиозного сознания.

Об алиби. Время – тоже родина

Конечно, это трагедия, когда не слушали, недослушивали, не понимали и не хотели понимать Ламарка, Достоевского, Вернадского, Рассела, Эйнштейна, Швейцера... Конечно, есть страшный искус не просто огорчиться этим, отчаяться, но и вознегодовать. А все-таки настоящее мужество – это начинать все снова, снова и снова, чтобы докричаться, достучаться, доломиться до людей, несмотря ни на что.

Но ведь правда и то, что обжигает иногда и леденит вдруг такая ночная мысль: а не живем ли мы уже в мертвом времени, не замечая того, не ведая о том, не желая, боясь ведать, двигаемся лишь по инерции, заключены в корабль, который действительно летит *не туда*, а мы, внутри, заняты своими делами, расчетами, обидами. Надеждами – а зачем? зачем? зачем дети? зачем труд, планы? Оно, время, еще есть, течет, несется сломя голову, но оно – мертвое, необратимое, в нем уже ничего, ничего нельзя сделать, ничего изменить, и никому уже не повернуть, не перевести корабль на другую – спасительную – орбиту...

Эта мысль обесмысливает все. Это чувство оцепеняет. Это и есть смерть до смерти.

Но его, это чувство, надо высказать, ее, эту мысль, надо вытащить наружу, чтобы стряхнуть их, чтобы выжечь. В них есть страшный соблазн и страшный секрет. Всмотримся, разглядим, не побоимся признать: их соблазн, их секрет чудовищно просты – *снять всю ответственность с себя, с себя лично*. И ничего, ничего больше за этим абсолютно не стоит. Страх ответственности (тем более что беспримерной). Соблазн безответственности (тоже беспримерной). И все. Убегать, дезертировать в алиби.

Так просто? Да! Есть вещи проще простого, но потому-то именно и боимся мы их признать, скрываясь за мнимой сложностью: «Ах, все сложнее...» Нет! В решающие моменты все проще, все упрощается до предела пределов, все окончательно поляризуется, все выявляется в неприкрытой наготе своей. Так и тут: все проще, только этот страх, только этот соблазн, только *погоня за утраченным навсегда алиби*.

Могучий родовой инстинкт человечества должен быть помножен на могучий родовой его разум, на (если так можно сказать) физические и сверхфизические усилия его духа.

Алиби – отсутствие человека в данном месте в данный момент, там и тогда, где и когда совершается преступление. Но сегодня, сейчас, на Земле готовится (да, в сущности, уже идет, уже совершается) самое-самое страшное преступление про-

тив человечества, против жизни всей, против Земли. Все, все это знают: вот где (вся Земля) оно готовится, вот когда (сейчас, сейчас!) оно грозит произойти. Все мы живем на этой Земле, в это время. Никто не может сказать: «Меня здесь сейчас нет, я ничего об этом не знаю». Какое тут для кого может быть алиби? Уже и уголка нет такого в пространстве, уже и щели нет такой во времени, где можно было бы его, это алиби, найти и спрятаться с ним. И преступники главные все известны: все те, для кого «есть вещи поважнее мира», все те, кто исповедует «лучше быть мертвым», все те, кто проповедует «победу» в ядерной войне (равнодушие и трусость по отношению к ним, главным преступникам, – тоже преступление).

Нынешнее реальное время-пространство – это время-пространство либо самого большого преступления, либо самого большого подвига, но во всяком случае это время-пространство – без алиби. Это относится и к нынешнему художественному времени-пространству, к новому хронотопу.

Вспомним Толстого. Он был одержим мыслью: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь!» Он повторял себе, себе прежде всего, – мыслитель, писатель «всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог и решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно...».

Почерпнем силы и у Достоевского: «О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести. Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: “Если уж эти, то...” и т. д. То же и наука». Еще: «Но пуще всего не запугивайте себя самих, не говорите: “Один в поле не воин” и пр. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят: “Не дают ничего делать”. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собой лентяи. Кто хочет принести пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра». И еще: «Прежде чем проповедовать людям – “как им быть?” – покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного – не понимаю!.. Исполни на себе прежде, чем других заставляя, – вот в чем вся тайна первого шага... знаю сам, что существующее нельзя сделать несуществующим, – но знаете, господа, иногда и можно».

Почерпнем и у Герцена: «У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять кровь в жилах».

И из только что опубликованной рукописи молодого М. Бахтина: «В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находится. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие единственным и неповторимым образом. То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может». М. Бахтин называет это «факт моего не-алиби в бытии». И еще: «Ответственный поступок и есть поступок на основе признания должествующей единственности... Только не-алиби в бытии превращает пустую возможность в единственный действительный поступок». То есть сама наша жизнь, дарованная нам Жизнью, уже есть наше не-алиби в бытии. Мы рождены – для не-алиби, на не-алиби, на неповторимую ответственность за судьбу Жизни.

Если даже раньше так чувствовалось и понималось, то что уж говорить о нашем времени, когда соблазн, цинизм, запугивание самих себя, неспособность «пе-

ременять кровь в жилах», отказ от своего не-алиби в бытии, слабоволие, опоздание, а может, даже преодоление усталости своей и могут стать абсолютно непоправимыми.

А вот отклик из нашего времени: «Не обязательно гением быть, чтобы ощутить внутренний, неотменимый приказ: не останавливайся, не имеешь права, и именно ты, а иначе мир погибнет!.. Признав главное – главным, а неглавное – не главным, думать прежде всего о главном, без чего и все остальное не имеет никакого будущего и просто смысла!» (Алесь Адамович). Выполнение этого внутреннего приказа и есть теперь высшая мера, высший критерий, высший ориентир человеческого подвига.

Все больше в мире «лучших людей» (вспомним: «появятся в минуту опасности»), которые без этого внутреннего приказа не хотят писать, работать. Не могут – вдруг раз и навсегда разучились! Жить – не могут. Дезертирами бы себя прокляли. Одна «идея-чувство» их жжет: успеть! Успеть узнать и понять главное! Успеть предупредить и переубедить всех, кого можно и кого, кажется, нельзя! Успеть отдать! Но сколько и таких, кто и сейчас мучается одним-единственным чувством, живет им, растрavляет: недодали, недооценили, недонаградили, недозвzл – успеть! Успеть – даже не взять, а дозвzть! Но какое тут-то, сейчас-то тщеславие, какие счета, когда вон уже до какой черты все дошло?

Была бы живая жизнь живого человечества, было бы Солнце не мертвецом, Земля – не могилой, были бы дети живы и, наконец, лучше, добрее, умнее нас. Какая еще награда может быть для людей выше?

И никуда не уйти нам от прямого личного ответа на прямой личный вопрос: на какое время ты работаешь – на живое или на мертвое? *Тем* ли занят? *То* ли делаешь? *Так* ли? Не побоишься себе признаться: еще не тем, еще не то, еще совсем, совсем не так? Не опоздаешь?..